



## Дама с камелиями

### Предисловие

#### МАРИ ДЮПЛЕССИ



тысяча восемьсот сорок пятом году, в эпоху благоденствия и мира, когда молодая Франция была осыпана всеми дарами ума, таланта, красоты и богатства, в Париже проживала молодая, замечательно красивая и привлекательная особа; где бы она ни появлялась, все, кто видел ее в первый раз и не знал ни имени, ни профессии, обращали на нее почтительное внимание. И действительно: у нее было самое безыскусственное, наивное выражение лица, обманчивые манеры, смелая и вместе с тем скромная походка женщины из самого высшего общества, лицо у нее было серьезное, улыбка значительная, и при виде ее можно было повторить слова Эллевью об одной придворной даме: не то это кокотка, не то герцогиня.

Увы, она не была герцогиней и родилась на самом низу общественной лестницы; нужно было иметь ее красоту и привлекательность, чтобы в восемнадцать лет так легко перешагнуть через первые ступени. Помню, я встретил ее в первый раз в отвратительном фойе одного бульварного театра, плохо освещенного и переполненного шумной публикой, которая обыкновенно относится к мелодраме как к серьезной пьесе. В толпе было больше блузок, чем платьев, больше чепцов, чем шляп с перьями, и больше потрепанных пальто, чем свежих костюмов; болтали обо всем: о драматическом искусстве и о жареном картофеле; о репертуаре театра Жимназ и о сухарях в театре Жимназ; но когда в этой странной обстановке появилась та женщина, казалось, что взглядом своих прекрасных глаз она осветила все эти смешные и ужасные вещи. Она так легко прикасалась ногами к неровному паркету, как будто в

дождливый день переходила бульвар; она инстинктивно приподнимала платье, чтобы не коснуться засохшей грязи, вовсе не думая показывать нам свою стройную, красиво обутую ножку в шелковом ажурном чулке. Весь ее туалет гармонировал с ее гибкой и юной фигуркой; прелестный овал слегка бледного лица придавал ему обаяние, которое она распространяла вокруг себя, словно какой-то необыкновенно тонкий аромат.

Она вошла, прошла с высоко поднятой головой через удивленную толпу, и — представьте себе наше удивление, Листа и мое, — фамильярно села на нашу скамейку, хотя ни Лист, ни я не были с ней знакомы; она была умная женщина, со вкусом и здравым смыслом, и первая заговорила с великим артистом; она сказала ему, что слышала его недавно и что он очаровал ее. Он, подобный звучным инструментам, которые отвечают на первое дуновение майского ветерка, слушал со сдержанным вниманием ее слова, полные содержания, звучные, красноречивые и мечтательные по форме. Со свойственным ему поразительным тактом и привычкой вращаться как среди официального мира, так и среди артистического, он задавал себе вопрос, кто эта женщина, такая фамильярная и вместе с тем такая благородная, которая первая с ним заговорила, но после первых же слов обращалась с ним несколько высокомерно, как будто он был ей представлен в Лондоне, при дворе королевы или герцогини Сутерландской?

Однако в зале уже прозвучали три торжественных удара режиссера, и в фойе не осталось никого из публики и критиков. Только незнакомая дама оставалась со своей спутницей и с нами — она под села даже поближе к огню и поставила свои замерзшие ножки так близко к поленьям, что мы свободно могли рассмотреть ее всю, начиная с вышивки ее юбки и кончая локонами прически; ее рука в перчатке была похожа на картинку, ее носовой платок был искусно обшит королевскими кружевами; в ушах у нее были две жемчужины, которым могла бы позавидовать любая королева. Она так носила все эти вещи, как будто родилась в шелку и бархате, под золоченой кровлей, где-нибудь в великолепном предместье, с короной на голове, с толпой льстецов у ног. Ее манеры гармонировали с разговором, мысль — с улыбкой, туалет — с внешностью, и трудно было бы отыскать на самых верхах общества личность, так гармонировавшую со своими украшениями, костюмами и речами.

Лист был очень удивлен таким чудесным явлением в по-

добном месте, таким приятным антрактом в этой ужасной мелодраме и разошелся. Он был не только величайший артист, но и очень красноречивый собеседник. Он умел разговаривать с женщинами и, как они, переходил от одной идеи к другой, прямо противоположной. Он обожал парадоксы и то касался серьезных материй, то смешных; я не сумею вам описать, с каким искусством, с каким тактом, с каким безграничным вкусом он вел с этой незнакомкой обычный, немного вульгарный и в то же время чрезвычайно изящный разговор.

Они разговаривали так в продолжение всего третьего акта мелодрамы, а ко мне обращались только два раза из вежливости; я находился как раз в это время в том сверном настроении, когда человеческая душа не поддается никакому восторгу, и был уверен, что незнакомая дама считает меня очень скучным и глупым, в чем она была совершенно права.

Зима прошла, прошло лето, а осенью на блестящем бенефисном спектакле в опере мы вдруг увидели, как шумно открылась большая ложа в бельэтаже и там появилась с букетом в руках та самая красавица, которую я видел в бульварном театре. Это была она! Но на этот раз — в роскошном туалете модной женщины, сверкая блеском победы. Она была восхитительно причесана, ее прекрасные волосы были переплетены бриллиантами и цветами и так грациозно зачесаны, что казались словно живыми; у нее были голые руки и грудь, и на них сверкали ожерелья, браслеты, изумруды. В руках у нее был букет, не сумею сказать какого цвета; нужно иметь глаза молодого человека и воображение ребенка, чтобы различить окраску букета, над которым склоняется красивое лицо. В нашем возрасте замечают только щечки и глаза и мало интересуются всем остальным, а если стремятся сделать какие-нибудь выводы, то их черпают в самом человеке, и это доставляет немало труда.

В этот вечер Дюпрэ начал борьбу со своим непокорным голосом, окончательный бунт которого он уже предчувствовал; но он один это предчувствовал, большая публика этого и не подозревала. Только немногие любители угадывали усталость, скрытую под искусными приемами, и истощение артиста от колоссальных усилий лгать перед самим собой. По-видимому, прекрасная дама, о которой я говорю, была такой ценительницей: послушав несколько минут очень внимательно и не подавшись обычному очарованию, она энергично отодвинулась в глубину ложи, перестала слушать и начала с лорнетом в руках изучать публику.

Вероятно, она многих знала среди избранной публики этого спектакля. По движению ее лорнета легко было заключить, что молодая женщина могла рассказать многое о молодых людях с самыми громкими именами; она смотрела то на одного, то на другого, без разбора, не выделяя никого своим вниманием, равнодушная ко всем, — и каждый отвечал ей на оказанное внимание улыбкой, или быстрым поклоном, или мимолетным взглядом. Из глубины темных лож и мест оркестра к прекрасной женщине летели другие взоры, пламенные, как вулкан, но их она не замечала. Но когда ее лорнет случайно попал на дам из настоящего общества, она внезапно принимала такой покорный и жалкий вид, что было больно на нее смотреть. И, наоборот, она с горечью отворачивалась, если по несчастной случайности ее взор падал на красавиц, пользующихся сомнительной известностью и занимающих самые лучшие места в театре в большие дни. Ее спутник (на этот раз у нее был кавалер) был очень красивый молодой человек, наполовину парижанин, сохранивший еще некоторые остатки отцовского состояния, которые он съедал день за днем в этом погибельном городе. Этот начинавший жить молодой человек гордился своей спутницей, достигшей апогея красоты, с удовольствием афишировал свое право собственности на нее и надоедал ей всевозможными знаками внимания, которые так приятны молодой женщине, когда они исходят от милого сердцу любовника, и так неприятны, когда не встречают взаимности... Она его слушала, не слыша, и смотрела на него, не видя... Что он говорил? Она не знала; но она старалась отвечать, и эти бессмысленные слова утомляли ее.

Таким образом, сами того не подозревая, они были не одни в ложе, стоимость которой равнялась полугодичному пропитанию целой семьи. Между ней и ним возник обычный спутник больных душ, уязвленных сердец, изможденных умов: скука, этот Мефистофель заблудших Маргарит, павших Кларисс, всех этих богинь, детей случая, которые бросаются в жизнь без руля и без ветрил.

Она, эта грешница, окруженная обожанием и поклонением молодости, скучала, и эта скука служила ей оправданием, как искупление за скоро преходящее благоденствие. Скука была несчастьем ее жизни. При виде разбитых привязанностей, сознавая необходимость заключать мимолетные связи и переходить от одной любви к другой, — увы! — сама не зная почему, заглушая зарождающееся чувство и расцветающую нежность, она стала равнодушной ко всему, забывала вчераш-



нюю любовь и думала о сегодняшней любви столько же, сколько и о завтрашней страсти.

Несчастливая, она нуждалась в уединении... и всегда была окружена людьми. Она нуждалась в тишине... и воспринимала своим усталым ухом беспрерывно и бесконечно все одни и те же слова. Она хотела спокойствия... ее увлекали на празднества и в толпу. Ей хотелось быть любимой... ей говорили, что она хороша! Так она отдавалась без сопротивления этому беспощадному водовороту! Какая молодость!.. Как понятны стано-

вятся слова мадемуазель де Ланкло, которые она произнесла с глубоким вздохом сожаления, достигнув сказочного благополучия, будучи подругой принца Кондэ и мадам Ментенон: «Если бы кто-нибудь предложил мне такую жизнь, я бы умерла от страха и горя».

Опера кончилась, прелестная женщина встала, хотя вечер был еще в полном разгаре. Ждали Буффэ, мадемуазель Дежазе и актеров из Пале-Рояля, не говоря уже о балете, в котором должна была выступать Карлотта, прелестное и грациозное создание, переживающее первые дни восторга и поэзии... Она не хотела дожидаться водевиля; ей хотелось сейчас же уехать домой, хотя остальную публику публику ожидали еще несколько часов удовольствия под звуки музыки и при свете ярких люстр.

Я видел, как она вышла из ложи и сама накинула на себя пальто на горностаевом меху. Молодой человек, который ее сопровождал в театр, казалось, был недоволен, и так как теперь ему не перед кем было хвастаться этой женщиной, то он и не беспокоился больше о ней. Помню, что я помог ей укутать ее белые плечи, и она посмотрела на меня, не узнавая, с горькой улыбкой, которую перевела потом на молодого человека, расплачивавшегося в это время с портьершей, требуя у нее пять франков сдачи.

— Сдачу оставьте себе, — сказала она портьерше, приветливо кивнув ей головой. Я видел, как она спустилась по большой лестнице с правой стороны, ее белое платье резко выделялось под красным пальто, а шарф, покрывавший голову, был завязан под подбородком, ревнивое кружево падало ей на глаза, но кого это трогало! Эта женщина уже сыграла свою роль, ее рабочий день был окончен, и ей не к чему было думать больше о своей красоте. Наверное, в эту ночь молодой человек не переступил порог ее комнаты...

Должен отметить одну очень похвальную вещь: эта молодая женщина пригоршнями разбрасывала золото и серебро, увлекаемая как своими капризами, так и своей добротой и мало ценя эти печальные деньги, которые ей доставались так тяжело; но вместе с тем она не была виновницей ни разорений, ни карточной игры, ни долгов, не была героиней скандальных историй и дуэлей, которые, наверное, встретились бы на пути других женщин в ее положении. Наоборот, вокруг нее говорили только о ее красоте, о ее победах, о ее хорошем вкусе, о модах, которые она выдумывала и устанавливала. Говоря о ней, никогда не рассказывали об исчезнувших состояниях, тюремных заключениях за долги и изменах, неизбежных спутниках

потомок любви. По-видимому, вокруг этой женщины, так рано умершей, создалось какое-то тяготение к сдержанности, к приличию. Она жила особой жизнью даже в том обособленном обществе, к которому она принадлежала, в более чистой и спокойной атмосфере, хотя, конечно, атмосфера, в которой она жила, все губила.

В третий раз я ее встретил на освящении Северной железной дороги, на празднествах, которые Брюссель устраивал Франции, ставшей его соседкой и соотрапезницей. Бельгия собралась на вокзале, этом центральном пункте всех северных железных дорог, все свои богатства: растения из своих оранжерей, цветы из своих садов, бриллианты своих корон. Невероятная смесь всевозможных мундиров и лент, бриллиантов и газовых платьев заполняла место небывалого празднества. Французское пэрство и немецкое дворянство, испанская Бельгия, Фландрия и Голландия, разукрашенные старинными драгоценностями, современными Людовику XIV, представители больших, солидных промышленных фирм, масса изящных парижанок, похожих на бабочек в пчелином улье, слетелись на этот праздник промышленности и путей сообщения, покоренного железа и огня. Здесь беспорядочно были представлены все силы и красоты творения, от дуба до цветка, от каменного угля до аметиста. Среди толпы различных народностей, королей, принцев, артистов, кузнецов и европейских коток мы увидели, или, вернее, я увидел эту прелестную женщину, еще более побледневшую, чем раньше, уже сраженную невидимым злом, которое влекло ее к могиле.

Она попала на этот бал, несмотря на свое имя, благодаря своей ослепительной красоте. Она привлекала всеобщее внимание, ей выражали восторг. Листивый шепот провожал ее на всем пути, и даже те, кто ее знал, склонялись перед ней; как всегда, спокойная и презрительно замкнутая, она принимала эти восторги как нечто должное. Она спокойно ступала по коврам, по которым ступала сама королева. Не один принц отставивался перед ней, и его взгляды легко могла понять любая женщина: я преклоняюсь перед вашей красотой и удаляюсь с сожалением. В этот вечер ее вел под руку новый незнакомец, белокурый, как немец, бесстрастный, как англичанин, изысканно одетый, очень корректный, очень замкнутый; по-видимому, он считал свой поступок проявлением большой смелости, в которой мужчины упрекают себя потом до самой смерти.

Вероятно, поведение этого человека было неприятно впе-

чатливой особе, которую он вел под руку; она угадывала его своим шестым чувством и удваивала свою надменность; ее чудесный инстинкт подсказывал ей, что чем больше этот человек удивляется своему поступку, тем сильнее должна возрастать ее дерзость и презрение к угрызениям совести этого жалкого парня. Немногие понимали страдания, которые переживала в этот момент она, женщина без имени, которую вел под руку человек без имени; казалось, он подавал сигнал общему неодобрению и всем своим угрожающим поведением ясно выказывал свою беспокойную душу, нерешительное сердце и смущенный ум. Но этот англонемец был жестоко наказан за свою скрытую тревогу; на повороте аллеи, залитой светом, наша парижанка встретила своего друга, неприятязательного друга, который получал время от времени кончики ее пальцев для поцелуя и улыбку на ее губах.

— Вы здесь! — воскликнула она. — Дайте мне руку и пойдем танцевать!

И, бросив руку своего официального кавалера, она начала танцевать вальс в два па, полный соблазна, когда его танцуют под музыку Штрауса, так, как его танцуют на берегах немецкого Рейна, его настоящей родины. Она танцевала очаровательно, не особенно быстро, не особенно наклонялась, послушная внутреннему ритму и внешнему темпу, едва касаясь легкой ножкой гладкого пола, мерно подсакивая, не сводя глаз со своего кавалера.

Около них образовался круг, и то одного, то другого касались прелестные волосы, развевавшиеся в такт быстрому вальсу, и легкое платье, пропитанное нежными духами: мало-помалу круг становился все теснее и теснее, другие танцоры останавливались, чтобы посмотреть на них, и само собой случилось, что высокий молодой человек, который привел ее на бал, потерял ее в толпе и тщетно искал ту, которой он с таким отвращением предложил свою руку... Нельзя было найти ни этой женщины, ни ее кавалера.

На другой день после этого праздника она приехала из Брюсселя в Спа прекрасным утром, когда горы, поросшие зеленью, пропускают солнце. В этот час сюда стекаются все счастливые больные, которые стремятся отдохнуть от развлечений прошлой зимы, чтобы лучше подготовиться к развлечениям будущей. В Спа знают только одну лихорадку — бальную, только одну тоску — разлуки, только одно лекарство — болтовню, танцы и музыку и волнения игры вечером, когда укрепления сверкают всеми огнями, когда горное эхо повторяет на



тысячи ладов чарующие звуки оркестра. В Спа парижанку приняли с редким вниманием для этой немного дикой деревни, которая охотно уступает Бадену — своему сопернику — красавиц без имени, без мужа и без положения. Все были чрезвычайно удивлены в Спа, когда узнали, что эта молодая женщина серьезно больна, и опечаленные врачи признались, что они редко встречали больше покорности, соединенной с большим мужеством.

Ее очень внимательно, старательно выслушали и после серьезного совещания предписали покой, отдых, сон, тишину, одним словом — все, о чем она мечтала для себя. Услышав эти советы, она улыбнулась, недоверчиво покачав головой, — она знала, что все было возможно, кроме этих счастливых часов, удела только некоторых избранных женщин. Она обещала, однако, слушаться в течение нескольких дней и подчиниться этому спокойному режиму. Но тщетные усилия! Через некоторое время ее видели пьяной и безумно веселой деланым весельем, верхом на лошади, на самых опасных дорожках, удивляющей своим весельем ту самую аллею «Семи часов», которая так недавно ее видела мечтательно читающей в тени деревьев.

Скоро она стала львицей этих прекрасных мест. Она царила на всех празднествах; оживляла балы; она предписывала программу оркестру, а ночью, когда сон принес бы ей так много пользы, она пугала самых бесстрашных игроков грудями золота, которые вырастали перед ней и которые она сразу теряла, равнодушная к выигрышу, как и к проигрышу. Она считала игру придатком своей профессии, средством убивать часы, которые убивали ее жизнь. Несмотря ни на что, у нее оставался еще большой козырь в жестокой жизненной игре, у нее были друзья, хотя обычно эти мрачные связи оставляют после обожания только прах и пыль, суету и ничтожество! И как часто любовник проходит мимо своей возлюбленной, не узнавая ее, и как часто любовница тщетно призывает на помощь!.. Как часто рука, привыкшая к цветам, тщетно просит милостыни и черствого хлеба!..

С нашей героиней этого не было, она пала, не жалуясь, и, упав, нашла помощь, поддержку и покровительство среди страстных обожателей ее лучших дней. Эти люди, которые были соперниками и, может быть, врагами, соединились у изголовья больной, чтобы искупить безумные ночи добродетельными ночами, когда приблизится смерть, разорвется завеса и жертва, лежащая на одре, и ее соучастники поймут наконец

правдивость слов: *Vae ridentibus!* Горе смеющимся! Горе! Иначе говоря, горе пустым радостям, горе несерьезным привязанностям, горе непостоянным страстям, горе юности, заблудившейся на дурных дорогах, ибо придет время, когда придется вернуться обратно и пасть в бездну, неизбежную в двадцать лет.

Она умерла, нежно убаюканная и утешенная бесконечно трогательными словами, бесконечными братскими заботами, у нее не было больше любовников... Никогда у нее не было столько друзей, и вместе с тем она без сожаления расставалась с жизнью. Она знала, что ее ждет, если к ней вернется здоровье, и что придется снова поднести к своим бескровным губам чашу наслаждения, гущи которой она слишком рано вкусила; она умерла молча, еще более сдержанная в смерти, чем была в жизни; после всей роскоши и скандалов хороший вкус подсказал ей желание быть погребенной на рассвете, в уединенном, неизвестном месте, без шума, без хлопот, как честная мать семейства, которая соединяется на этом кладбище со своим мужем, своим отцом, своей матерью и своими детьми, со всем, что она любила.

Однако, помимо ее воли, ее смерть была как бы событием! О ней говорили в течение трех дней — а это много в этом городе пылких страстей и непрерывных праздников. Через три дня открыли запертую дверь ее дома. Окна, выходившие на бульвар, как раз напротив церкви Св. Магдалины, ее покровительницы, снова пустили воздух и свет в эти стены, где она умерла. Казалось, что молодая женщина снова появится в этом жилище. Не осталось никаких следов смерти ни в складках шелковых занавесей, ни в длинных драпировках необыкновенного оттенка, ни на вышитых коврах, где цветок, казалось, рождался под легкой ногой ребенка.

Все в этих роскошных покоях стояло еще на своих местах. У изголовья скамеечка сохранила отпечаток колен человека, закрывшего ей глаза. Старинные часы, показывавшие время мадам Помпадур и мадам дю Барри, показывали время и теперь; в серебряных канделябрах были вставлены свечи, оправленные для последней беседы; в жардиньерках боролись со смертью розы и выносливый вереск. Они умирали без воды... Их госпожа умерла без счастья и надежды.

Увы! На стенах висели картины Диаца, которого она признала одна из первых как истинного художника весны.

Все еще говорило о ней! Птицы распевали в золоченой клетке; в шкафах Буль, за стеклами виднелись поразительные

коллекции: редкие шедевры Севрской фабрики, самые лучшие саксонские рисунки эмали Петито, работы Буше, бездушки. Она любила грациозное, кокетливое, изящное искусство, где порок не лишен ума, где невинность показывает свою наготу; она любила флорентийскую бронзу, эмаль, терракоту, все изощрения вкуса и роскоши упадочного времени. В них она видела эмблему своей красоты и своей жизни. Увы! Она тоже была бесполезным украшением, фантазией, легкомысленной игрушкой, которая ломается при первом ударе, блестящим продуктом умирающего общества, перелетной птицей, быстротечной звездой.

Она так хорошо изучила искусство ухода за самой собой, что ничто не могло сравниться с ее платьями, с ее бельем, с мелкими принадлежностями ее туалета; уход за красотой был, по-видимому, самым ценным и самым приятным занятием ее юности.

Я слышал, как самые знатные дамы и самые искусные кокетки удивлялись изощренности и изысканности всех ее туалетных принадлежностей. Ее гребень был продан за сумасшедшую цену; ее головная щетка была продана чуть ли не на вес золота. Продавались даже ее поношенные перчатки, настолько была хороша ее рука. Продавались ее поношенные ботинки, и порядочные женщины спорили между собой, кому носить этот башмачок Золушки. Все было продано, даже ее старая шаль, которой было три года; даже ее пестрый попугай, напевавший довольно печальную мелодию, которой научила его госпожа; продали ее портреты, продали ее любовные записочки, продали ее лошадей — все было продано, и ее родственники, которые отворачивались от нее, когда она проезжала в своей карете с гербами, на прекрасных английских скакунах, с торжеством завладели всем золотом, которое очистилось от этой продажи. Целомудренные люди! Они себе ничего не оставили из вещей, принадлежавших ей.

Такова была эта исключительная женщина даже по парижским нравам, и вы поймете мое удивление, когда появилась эта интересная книга, полная такой жизненной правды: «Дама с камелиями». О ней заговорили сначала, как говорят обычно о страницах, запечатленных искренним чувством молодости, и все с удовольствием отмечали, что сын Александра Дюма, едва окончивший коллеж, шел уже верным шагом по блестящим следам своего отца. У него были отцовская живость и впечатлительность; у него был отцовский живой стиль, быстрый и не лишенный естественного диалога, легкого и разно-

образного, придающего романам этого великого мастера прелесть, вкус и характер комедии.

Итак, эта книга имела большой успех; читатели вскоре поняли, что «Дама с камелиями» не висела в воздухе, что эта женщина должна была жить и жила недавно, что эта драма не была выдумана из головы, что это была интимная трагедия, сочащаяся живой кровью. Все заинтересовались именем героини, ее положением в обществе, успехом и шумом ее любовных приключений. Публика, которая хочет все знать и в конце концов все узнает, узнала мало-помалу все эти подробности, и кто прочел книгу, тот перечитывал ее снова, и, конечно, знание истины отразилось на интересе рассказа.

Так, по счастливой случайности, книга, отпечатанная с бесцеремонностью пустого романа, едва ли предназначенного прожить один день, теперь перепечатывается со всем почетом всеми признанной книги! Прочтите ее, и вы узнаете во всех подробностях трогательную историю, из которой богато одаренный молодой человек сделал элегию и драму с такими слезами, успехом и счастьем.

*Жюль Жанен*

## I



о моему мнению, можно создавать типы только после долгого изучения людей, так же, как можно говорить на каком-нибудь языке, лишь изучив его серьезно.

Я еще не в том возрасте, когда выдумывают из головы, и поэтому ограничусь пересказом.

Я прошу читателя верить в истинность событий, все действующие лица которых, за исключением героини, еще живы.

Кроме того, в Париже найдутся свидетели большинства происшествий, рассказанных здесь, и сумеют их подтвердить, если моего слова окажется мало. Благодаря особому случаю я один мог их описать, ибо я один знал многие подробности, без которых рассказ был бы неинтересен и неполон.

Вот как эти подробности стали мне известны. 12 марта 1847 года я прочел на улице Лаффит большое желтое объявление о предстоящей распродаже мебели и предметов роскоши. Распродажа была назначена ввиду смерти владельца. В объявлении не была названа фамилия покойного, но был указан точный адрес и время: улица д'Антэн, дом № 9, 16-го числа с двенадцати до пяти.

Кроме того, в объявлении было сказано, что 13-го и 14-го желающие могут предварительно осматривать мебель и квартиру.

Я всегда был любителем редкостей и решил не пропустить этого случая, и если не купить, то, по крайней мере, посмотреть вещи.

На следующий день я отправился на улицу д'Антэн, в дом № 9.

Несмотря на ранний час, в квартире было уже много посетителей и даже посетительниц; дамы, одетые в бархат, закутанные в шали и приехавшие в элегантных экипажах, рассмат-

ривали, однако, с удивлением и даже с восхищением роскошь, представшую их глазам.

Позднее я понял это восхищение и удивление: присмотревшись к окружающей обстановке, я легко догадался, что нахожусь в квартире содержанки. Здесь были и светские дамы, а их больше всего на свете интересует домашняя обстановка тех женщин, экипажи которых каждый день забрызгивают грязью их экипажи, которые имеют, так же, как и они, и рядом с ними, абонированные ложи в Большой Опере и в Итальянской, и которые выставляют в Париже напоказ наглую роскошь своей красоты, своих драгоценностей и своих скандалов.

Та, у которой я сейчас находился, умерла, — и самые добродетельные дамы могли проникнуть в ее квартиру. Смерть очистила воздух в этой блестящей клоаке, а, кроме того, им служило извинением, если вообще нужно было извинение, то, что они пришли на аукцион, не зная, к кому они пришли. Они прочли объявление, хотели осмотреть вещи, о которых говорилось в объявлении, и заранее сделать выбор; все объяснялось очень просто; но это не мешало им разыскивать среди всей роскоши следы жизни куртизанки, о которой им, наверное, рассказывали много удивительного.

Но, к несчастью, тайны умерли вместе с богиней, и, несмотря на все их желание, дамы могли видеть только то, что продавалось за смертью владелицы, а не то, что продавалось при ее жизни.

Однако выбор был большой. Обстановка была поразительная: мебель розового дерева и Буль, севрские вазы и китайские, саксонские статуэтки, атлас, бархат и кружева — все в изобилии.

Я расхаживал по квартире и следил за знатными посетительницами, которые пришли раньше меня. Они вошли в комнату, обтянутую ситцем, и я тоже собирался войти туда; как вдруг они вышли оттуда, улыбаясь и как бы стыдясь своего любопытства. Мой интерес к этой комнате только усилился. Это была уборная, снабженная всем необходимым; в мельчайших приспособлениях сказалась особенно ярко расточительность покойной.

На большом столе у стены, столе в три фута ширины и шесть длины, сверкали все сокровища д'Окока и д'Одио. Это был великолепный подбор, и все эти бесчисленные предметы, необходимые при туалете такой женщины, были из серебра и золота. И собрана была эта коллекция, по-видимому, не сразу, но постепенно, как дань любви различных людей.

Я не приходил в смущение при виде уборной содержанки, и мне нравилось рассматривать все мелочи; я обратил внимание, что на всех этих прекрасных чеканных инструментах были различные инициалы и различные гербы.

Я рассматривал эти вещи, из которых каждая мне рассказывала о новом проституировании бедной девушки, и приходил к выводу, что бог был милостив к ней, не дал ей дожить до обычного конца, позволил ей умереть среди роскоши и красоты, не дожидаясь старости, этой первой смерти куртизанок.

И действительно, как грустно видеть старость порока, особенно у женщины! В нем нет никакого достоинства, и он не вызывает никакого сочувствия. Отвратительно слышать это вечное сожаление не о дурно прожитой жизни, а о неверных расчетах и легкомысленно растроченных деньгах. Я знал одну старую проститутку, у которой от прошлого оставалась только дочь, почти такая же красивая, как она сама, по словам ее современников. Эту бедную девушку звали Луизой. Мать постоянно напоминала ей, что она обязана заботиться о матери в старости, так же, как мать заботилась о ней в детстве; и исполняя приказание своей матери, она отдавалась без всякой страсти, без удовольствия, как исполняла бы всякое другое ремесло, которому ее научили бы.

Постоянная жизнь среди разврата, разврата преждевременного, и постоянное болезненное состояние заглушили в этой девушке сознание добра и зла, которое, может быть, и было заложено в ней богом, но развивать которое никому не приходило в голову.

Я никогда не забуду этой девушки, которая появлялась на бульварах почти каждый день, в одно и то же время. Ее мать сопровождала ее всегда, так же аккуратно, как всякая другая мать сопровождает свою любимую дочь. Я был тогда очень молод и готов был примириться с легкой моралью нашего времени. Но отлично помню, что этот отвратительный надзор вызвал во мне презрение и негодование.

К тому же ни у одной порядочной девушки не было такого выражения невинности и тихого страдания в лице. Это была как бы олицетворенная покорность.

Однажды лицо девушки просветлело. Среди разврата, которым руководила ее мать, грешнице показалось, что Бог явил ей милость. И почему бы Бог, который создал ее бессильной, не дал ей утешения в ее тяжелой и мрачной жизни? Однажды она почувствовала, что беременна, и все, что у нее оставалось целомудренного, затрепетало от радости. В каждой душе есть

свои противоречия. Луиза поспешила сообщить матери эту радостную новость. Стыдно сказать, но ведь мы делаем это не из любви к пороку, мы рассказываем истинное происшествие; и, наверное, промолчали бы о нем, если бы не думали, что нужно время от времени раскрывать мучения этих созданий, которых осуждают, не выслушав, и презируют, не подвергнув суду; стыдно сказать, но мать ответила дочери, что им обоим только-только хватает на жизнь и что на троих не хватит, что такие дети всегда лишние, а беременность — потерянное время.

На следующий день акушерка, подруга ее матери, пришла к Луизе; Луиза пролежала несколько дней в постели и встала еще более слабая и бледная, чем раньше.

Три месяца спустя какой-то господин проникся к ней жалостью и занялся ее моральным и физическим оздоровлением; но последнее потрясение было слишком сильно, и Луиза умерла от последствий искусственного выкидыша.

Мать еще жива: как она живет, один Бог знает.

Я вспомнил эту историю в то время, как рассматривал серебряные несессеры, и, по-видимому, сильно задумался; в комнате не осталось больше никого, кроме меня и сторожа, который, стоя у двери, внимательно наблюдал за мной.

Я подошел к сторожу, которому внушал недоверие.

— Не можете ли вы мне сказать, — спросил я у него, — кто жил здесь?

— Маргарита Готье.

Я знал эту девушку, по имени и по внешности.

— Как! — воскликнул я. — Маргарита Готье умерла?

— Да, сударь.

— Когда же?

— Кажется, недели три тому назад.

— А почему разрешили публике осматривать помещение?

— Кредиторы думают, что это только повысит цены. Можно заранее осмотреть мебель и обивку и выбрать по вкусу.

— У нее были долги?

— Очень много.

— Но аукцион покрывает их?

— С излишком.

— А кому же достанется излишек?

— Ее семье.

— У нее есть родные?

— Кажется.

— Благодарю вас.



Сторож, разубедившись в моих намерениях, поклонился мне. Я ушел.

«Бедная девушка, — подумал я, возвращаясь домой, — несело было ей умирать. В ее кругу имеют друзей только тогда, когда все идет хорошо». И невольно мне стало жаль Маргариту Готье.

Многим покажется, может быть, смешным, но я питаю чрезмерную снисходительность к проституткам и даже не намерен в этом оправдываться.

Однажды я шел в полицию за паспортом и видел, как двое жандармов вели по улице девушку. Я не знаю, что сделала эта девушка, знаю только, что она обливалась горячими слезами, целуя маленького грудного ребенка, от которого ее отрывали. С тех пор я не могу презирать женщину с первого взгляда.

## II

Аукцион был назначен на 16-е. Был оставлен свободный день между осмотром и аукционом, чтобы дать время обойщикам снять занавеси, обивку и т. д.

Я недавно вернулся из путешествия. Вполне естественно, что мне не сообщили о смерти Маргариты как о такой новости, которую друзья обычно сообщают возвращающемуся домой, в столицу. Маргарита была красива, но насколько шумна жизнь этих женщин, настолько тиха их смерть. Эти светила восходят и заходят без блеска. Когда они умирают молодыми, об их смерти узнают все их любовники одновременно, потому что в Париже почти все любовники известной кокетки живут одной жизнью. Они обмениваются воспоминаниями и продолжают свою жизнь дальше, не пролив ни единой слезы.

В наше время двадцатипятилетние молодые люди редко проливают слезы и не могут оплакивать первую встречную. Оплакивают только родителей, которые платят за слезы, и в зависимости от суммы, которую они уплачивают.

Что касается меня, то хотя моих букв и не было на туалетных принадлежностях Маргариты, инстинктивная снисходительность, естественная жалость, в которой я только что признался, заставляли меня думать о ее смерти дольше, чем она этого, может быть, заслуживала.

Я вспомнил, что часто встречал Маргариту в Елисейских полях, куда она ездила аккуратно каждый день в маленькой синей карете, запряженной парой великолепных гнедых ло-

шадей; я отметил в ней тогда одну черту, несвойственную ей подобным, черту, которая как бы подчеркивала ее действительно исключительную красоту.

Эти несчастные создания, появляясь на улице, бывают всегда окружены всяким сбродом.

Ни один мужчина не согласится афишировать подругу своих ночных наслаждений; но так как проститутки боятся одиночества, то они и берут с собой на прогулку или менее счастливых подруг, не имеющих собственных выездов, или старых кокоток, все еще заботящихся о своей внешности, к которым свободно можно обратиться за справками относительно их спутницы.

Маргарита держалась иначе. Она приезжала в Елисейские поля всегда одна, в своем экипаже, и при этом старалась не вызывать внимания, зимой куталась в большую шаль, летом носила простые платья; и хотя по дороге она встречала много знакомых, ее улыбку видели только они одни, и только герцогиня могла бы так улыбаться.

Она не гуляла по кругу в начале Елисейских полей, как это делают и делали все ее товарки. Лошади быстро уносили ее в лес. Там она выходила из экипажа, гуляла в продолжение часа, вновь садилась в экипаж и возвращалась домой.

Я вспоминал все эти мелочи, очевидцем которых иногда бывал, и оплакивал смерть этой девушки, как оплакивают гибель прекрасного произведения искусства.

Вряд ли можно было встретить более приятную красоту, чем красота Маргариты.

Она была высокого роста и очень худощава; но свой физический недостаток она чрезвычайно искусно скрывала под складками платья. Ее длинная шаль, концы которой спускались до земли, с обеих сторон лежала на широких оборках шелкового платья, а пушистая муфта, в которую она прятала руки, прижимая ее к груди, так искусно была окружена воланами, что самый требовательный критик не сумел бы ничего возразить против красоты линий.

Ее чудесная головка была предметом особого кокетства. Она была очень маленькая, и ее мать, как сказал бы Мюссэ, позаботилась, создавая ее.

Представьте себе на чудном овале лица черные глаза и над ними такой чистый изгиб бровей, как будто нарисованный; окаймите глаза длинными ресницами, которые бросают тень на розовые щеки; нарисуйте тонкий прямой нос со слегка чувственными раскрытыми ноздрями; набросайте правильный

ротик, прелестные губки которого прикрывают молочно-белые зубы; покройте кожу бархатистым пушком — и вы получите полный портрет этой очаровательной головки.

Волосы, черные как смоль, спускались двумя естественными или искусственными бандо на лоб и развевались на затылке, оставляя открытыми кончики ушей, на которых сверкали два бриллианта ценою каждый в четыре-пять тысяч франков.

Мы можем только констатировать факт, совершенно его не понимая, что чувственная жизнь не отняла у лица Маргариты девственного и даже детского выражения.

У Маргариты был ее портрет, написанный Видалем, единственным человеком, чей карандаш мог ее передать. После смерти этот портрет был несколько дней в моем распоряжении, и он был так удивительно похож, что помог мне восстановить детали, которых моя память не удержала.

Некоторые мелочи, о которых я говорю в этой главе, стали мне известны много позднее, но я пишу о них сейчас, чтобы не возвращаться к ним позднее, когда начнется история жизни этой женщины.

Маргарита бывала на всех первых представлениях и все вечера проводила в театрах и на балах. Каждый раз, когда давалась новая пьеса, ее наверняка можно было встретить в театре с тремя вещами, с которыми она никогда не расставалась и которые лежали всегда на барьере ее ложи бенуара: с лорнетом, коробкой конфет и букетом камелий.

В течение двадцати пяти дней каждого месяца камелии были белые, а остальные пять дней они были красные, никому не известна была причина, почему цветы менялись, и я говорю об этом, не пытаясь найти объяснения, но завсегдагаи тех театров, где она часто бывала, и ее друзья заметили это так же, как и я.

Маргарита никогда не появлялась с другими цветами. В цветочном магазине мадам Баржон, где она всегда брала цветы, ее прозвали в конце концов «дамой с камелиями», и это прозвище осталось за ней.

Я знал, конечно, как и все, кто вращается в известных кругах Парижа, что Маргарита была любовницей самых изящных молодых людей, что она открыто об этом говорила и что они сами этим хвастались; это доказывало, что и любовники, и любовница были довольны друг другом.

Однако последние три года, после путешествия в Баньер, по слухам, она жила только с одним старым иностранцем гер-

погом, необыкновенно богатым, который старался оторвать ее от прошлого, на что она, по-видимому, довольно охотно соглашалась.

Вот что мне рассказывали по этому поводу.

Весной 1842 года Маргарита была так слаба, так больна, что врачи послали ее на воды, и она поехала в Баньер.

Там, среди больных, была и дочь герцога, у которой была не только та же болезнь, но и та же внешность, что и у Маргариты, так что их можно было принять за сестер. Только молодая герцогиня была в последней стадии чахотки и через несколько дней после приезда Маргариты умерла.

Однажды утром герцог, который оставался в Баньере, как на кладбище, где была похоронена часть его сердца, встретил Маргариту на повороте аллеи.

Ему показалось, что это тень его дочери. Подойдя к ней, он взял ее за руки, обнял, рыдая, и, не спросив, кто она, просил у нее позволения встречаться с ней и любить в ней живой образ своей покойной дочери.

Маргарита была в Баньере одна со своей горничной и, боясь совершенно себя скомпрометировать, разрешила герцогу все, что он просил...

В Баньере, однако, нашлись люди, которые знали ее и официально предупредили герцога о социальном положении мадемуазель Готье. Это было ударом для старика, потому что тут кончалось сходство с его дочерью, но было уже поздно. Молодая женщина стала потребностью его сердца и единственной целью, единственным оправданием его жизни.

Он не сделал ей упрека, да и не имел на то права; но он спросил у нее, способна ли она изменить свою жизнь, предложив ей взамен этой жертвы какое угодно вознаграждение. Она обещала.

Нужно сказать, что в это время Маргарита, натура увлекающаяся, была больна. Прошное казалось ей главной причиной ее болезни, и какое-то суеверное чувство заставляло ее надеяться, что Бог оставит ей красоту и здоровье в награду за раскаяние и исправление.

И действительно, воды, прогулки, естественная усталость и сон к концу лета мало-помалу восстановили ее силы.

Герцог сопровождал Маргариту в Париж, где он продолжал навещать ее, как и в Баньере.

Эта связь, о которой никто не знал ни ее действительного происхождения, ни ее действительного содержания, произвела большое впечатление, потому что герцог был известен сво-

им богатством, а теперь стал известен своей расточительностью.

Это сближение старого герцога с молодой женщиной объясняли распушенностью, свойственной богатым старикам. Строили различные догадки, кроме единственно правильной.

А меж тем чувства этого отца к Маргарите носили такой целомудренный характер, что всякое другое отношение к ней для него было бы кровосмешением, и ни разу он не сказал ей ничего такого, что не могла бы слышать его дочь.

Нам чужды намерения придавать нашей героине несвойственный ей облик. Мы должны отметить, что, пока она была в Баньере, обещание, данное герцогу, ей не трудно было сдерживать, и она его сдержала; но по возвращении в Париж этой девушке, привыкшей к рассеянной жизни, к балам, даже к оргиям, казалось, что одиночество, нарушаемое только периодическими визитами герцога, заставит ее умереть от скуки, и жгучее дыхание прошлой жизни ударило ей в голову и в сердце.

Прибавьте к этому, что Маргарита вернулась из своего путешествия еще более красивой, чем раньше, что ей было двадцать лет и что болезнь, усыпленная, но не сломленная окончательно, по-прежнему рождала в ней лихорадочные желания, которыми почти всегда сопровождаются легочные заболевания.

Герцогу было очень тяжело в тот день, когда его друзья, неустанно выслеживавшие скандала со стороны молодой женщины, связь с которой, по их словам, его компрометировала, донесли ему, что в тот час, когда она уверена в своей безопасности, она принимает посетителей и что эти посещения продолжают часто до следующего утра.

Герцог спросил Маргариту, она созналась и без всякой задней мысли посоветовала ему перестать интересоваться ею, так как у нее нет сил сдерживать свое обещание и ей не хочется больше принимать благодеяния от человека, которого она обманывает.

Герцог не показывался в течение недели, и это было все, что он мог сделать, а на восьмой день он умолял Маргариту впустить его, обещая ей принять ее такой, какова она есть, лишь бы ему позволено было ее видеть, и клянясь, что до самой смерти он ей не сделает ни одного упрека.

Вот как обстояло дело через три месяца после возвращения Маргариты, другими словами, в ноябре или декабре 1842 года.

### III

16-го, в час дня, я отправился на улицу д'Антэн.

Уже у входной двери были слышны голоса.

Квартира была полна любопытных.

Там были все звезды пышного порока, с любопытством изучаемые несколькими светскими дамами, которые снова воспользовались аукционом, чтобы присмотреться вблизи к женщинам, с которыми они никогда не имели бы случая встретиться и легким радостям которых они, может быть, втайне завидовали.

Герцогиня Ф... стояла бок о бок с мадемуазель А..., одним из печальнейших явлений в среде наших куртизанок; маркиза Г... колебалась, купить или не купить ей вещь, на которую надбавляла цену мадам Д..., самая роскошная и самая известная кокетка; герцог И..., о котором в Мадриде говорили, что он разоряется в Париже, а в Париже, что он разоряется в Мадриде, и который все-таки не мог даже истратить своего годового дохода, разговаривал с мадам М..., одной из наших самых умных рассказчиц, которая время от времени печатала рассказы за своей подписью, и обменивался дружескими взглядами с мадам N..., прекрасной завсегдатайкой Елисейских полей, почти всегда одетой в розовое или голубое; ее карета запряжена парой рослых черных лошадей, которых Тони продал ей за десять тысяч франков и... которые она ему заплатила; наконец мадемуазель Р..., которая при помощи только своего таланта достигала вдвойне против того, чего достигают светские женщины при помощи своего приданого, и втройне против того, что другие достигают при помощи любви, — пришла, несмотря на холод, сделать несколько покупок, и на нее было устремлено немало взоров.

Мы могли бы назвать инициалы еще многих людей, собравшихся в этих гостиных и очень удивленных этой общей встречей; но мы боимся утомить читателя.

Скажем только, что всем было безумно весело и среди тех, кто находился здесь, многие знали покойную, но, по-видимому, не вспоминали ее.

Смеялись громко; оценщики кричали до потери голоса; торговцы, которые заполнили все скамьи перед главным столом, тщетно старались восстановить тишину, чтобы в тишине обделать свои дела. Никогда не было такого шумного и пестрого собрания.



<i>Александр Дюма-сын. ДАМА С КАМЕЛИЯМИ . . . . .</i>	<i>7</i>
<i>Александр Дюма-отец. ЖЕНСКАЯ ВОЙНА . . . . .</i>	<i>197</i>